

УДК 1(091)

Непрерывность и "дискретность" общественно-исторического процесса

Н.С. Мареева

Историко-философский факультет университета РАО, кафедра философии и культурологии

Аннотация. В статье рассматривается проблема преемственности в истории на примере взаимной интеграции двух культурных ареалов античной классики – Древней Греции и Рима. Автор рассматривает общность и различие их мифологических, политических и нравственных установок, а также делается попытка исследовать внутренний взгляд на взаимное влияние. Предлагается возможный путь дальнейшего рассмотрения исторически неповторимого синтеза двух самобытных начал западной цивилизации.

Abstract. In the paper the problem of succession in the history on the example of correlation of the two cultural spheres (the ancient Greece and Rome) has been considered. The author has examined the identity and difference of their mythical, political and moral positions. The possible way of the following consideration of historical synthesis of two original sources of the western civilization has been proposed.

1. Введение

Освальд Шпенглер в работе "Закат Европы", как известно, представил свою философско-историческую концепцию, которую в параллель естественно-исторической концепции Лайеля можно характеризовать как своеобразный *катастрофизм*: каждый культурно-исторический тип погибает, не давая начало какому-то новому типу. "Все ставшее преходяще, – пишет он. – Преходящи не только народы, языки, расы, культуры. Через несколько столетий не будет уже никакой западноевропейской культуры, никаких немцев, англичан, французов, как во времена Юстиниана уже не было никаких римлян" (*Шпенглер*, 1993). Но что такое "западноевропейская культура" без культуры грекоримской? Ведь последняя не просто прекратилась, а *осуществилась*, т.е., говоря гегелевским языком, *была снята* в культуре западноевропейской. Даже языки, на которых и сейчас говорят некоторые народы Европы, называются *романскими*. И христианство, при всей его ненависти к "язычеству", взяло на вооружение не только греческий и латинский язык, но и греческую философию, без которой уже не могла существовать никакая развитая культура вообще.

О. Шпенглер считал, что Западная Европа "закатывается", но на просторах Евразии уже существует и находится на подъеме "русскосибирская" культура. Но можно ли представить себе современную Россию без реформ Петра I, который перенес на русскую почву западноевропейскую культуру? И до сих пор основанный им Петербург является городом более европейским, чем многие европейские города. Мы читаем и понимаем и Декарта, и Гегеля, и Платона и Аристотеля. И чем и кем мы были бы без них?

К. Маркс считал, что уже в XIX веке история становится *всемирной*. Это значит, что все страны и все народы на Земле оказываются вовлеченными в единый процесс, основой которого является мировой рынок. Но у Шпенглера история всемирной не только никогда не была, но и никогда не будет. Маркс считал, что "субстанцией" истории является, прежде всего, та сумма производительных сил, которую каждое новое поколение застаёт готовой. В этом состоит *связь* поколений. У животных такой связи нет, поэтому у них нет и истории. И то же самое с народами и культурами. При всем упадке производства и культуры в результате падения Древнего Рима, европейцы запрягали лошадей так же, как и римляне, и строили свои города, когда они их начали строить, так же, как строили римляне. И хотя некоторые ремесла, как, например, производство стекла, были на время утрачены, но их все-таки легче было восстановить, чем изобрести заново, потому что европейцы не знали, как это сделать, но они знали то, что надо сделать.

Но "субстанцию" истории образует не только "сумма производительных сил", но также "нравственная идея". И она, при всей смене ее *форм*, по своему глубинному содержанию остается одной и той же на протяжении всей истории. Это называется также *общественным идеалом*. Именно это мы и попытаемся показать. Наиболее рельефно это можно сделать на примере нравственного взаимоотношения различных поколений. Под "культурой" же в данном случае имеется в виду не внешний антураж, а то, что составляет суть определенной формы общества.

В жизни отдельных народов, как и в жизни отдельных людей, временами происходит процесс самоанализа. Поэтому, чтобы понять их, находясь в ином временном пространстве, нет смысла

подходить к ним отстранено, с позиций своего исторического отрезка. Возможно, иногда стоит посмотреть на них так, как они сами видели и понимали себя. В этом отношении направление, предложенное в свое время Вильгельмом Дильтейем – одним из основоположников "философии жизни", давало историкам определенные перспективы, но, к сожалению, почти не имело последователей. Именно Дильтей первым заявил, что те или иные явления человеческой культуры на различных этапах следует постигать не иначе, как *вовлекаясь* в них, т.е. переживая и рассматривая их изнутри, – ведь ни для кого не секрет, что если *стремление* к справедливости, истине и красоте объединяет людей различных стран и эпох, то *проявление* этого стремления в каждом отдельном случае является все-таки различным.

Знаменитому философу Германии вторил не менее знаменитый английский писатель: "Нам нужна новая наука, которая могла бы называться *психологической историей*. Я бы хотел найти в книгах не политические документы, а сведения о том, что значило то или иное слово и событие в сознании человека, по возможности – обыкновенного. Точно так же я хотел бы узнать, какие именно чувства объединяли в том или ином случае простых людей, здравомыслящих и эгоистичных, как все мы. Что чувствовали солдаты, когда видели в небе сверкание странного тотема – золотого орла легионов? Что чувствовали вассалы, завидев львов и леопардов на щитах своих сеньоров? Пока историки не обращают внимания на эту субъективную или, проще говоря, внутреннюю сторону дела, история останется ограниченной, и только искусство сможет хоть чем-то удовлетворить нас" (*Честертон*, 2004). Эти слова Г. Честертон куда понятнее сегодня, когда все чаще мы приходим к тому выводу, что далеко не каждое явление культуры можно оценивать однозначно. Возможно, история культуры, как отдельная область знания, как раз и призвана объективно рассматривать ту субъективную сторону жизни, о которой говорил в 1925 г. автор "Вечного Человека".

2. Встреча двух миров

В конце второго века до н. э., а именно в 198 году, в античной истории произошло политически рядовое, но весьма примечательное в культурном отношении событие. Римская республика уже два года вела безуспешную войну с царем Македонии Филиппом Вторым, когда из Рима в Эпир со значительным военным подкреплением прибыл только что избранный молодой консул Тит Квинкий Фламинин. Он отдал распоряжение своим войскам, проходившим через подвластные Македонии греческие земли, воздержаться от поджогов и грабежей, поскольку хотел привлечь на свою сторону греков, давно уже стремившихся избавиться от власти македонской династии. Фламинин был поклонником эллинской культуры, *эллинофилом*, как называли их в Риме. Он мечтал стать освободителем Греции, и сам его внешний облик и характер имели черты скорее классического эллинского, чем римского героя.

Чувствительные эллины пленились им, как некогда Деметрием Полиоркетом, а еще раньше – Филиппом, отцом Александра Македонского. Эти двое также в свое время сделали многое, чтобы благородными манерами и щедрыми дарами угодить утонченному эллинскому вкусу. О дальнейшем узнаем у Плутарха. В своей биографии Тита он сообщает следующее: "Скоро римляне смогли убедиться, какие преимущества дают им выдержка и порядок. Как только они подошли к Фессалии, ее города начали присоединяться к ним, греки к югу от Фермопил с нетерпением ждали Тита, чтобы вступить с ним в союз, ахейцы, разорвав соглашение с Филиппом, решили воевать против него на стороне римлян" (*Плутарх*, 1990).

Что во всем этом должно быть особенно интересно для нас? То, что именно здесь происходит встреча двух половин единого античного мира, которым с этого момента предстоит быть вместе почти целое тысячелетие.

Первое столкновение римлян и греков случилось лет за сто до этих событий, в войне римлян с италийскими колонистами, призвавшими на помощь эпирского царя Пирра – одного из самых ярких полководцев эллинистической эпохи. Именно тогда, по словам академика М.Л. Гаспарова, античность впервые встретила саму себя, – поскольку греки, наконец, могли отчетливо увидеть в римлянах тех, кем когда-то давно были они сами. В 228 году до н. э. граждане Коринфа, благодарные Риму за победу над иллирийскими пиратами, составлявшими угрозу для греческих торговых судов, даже вынесли постановление о допущении римского народа к Истмийским играм. "Этим постановлением римляне были официально признаны эллинами, хотя про себя греки, конечно, продолжали считать их варварами", – пишет *С.И. Ковалев* (2006). Но теперь, благодаря Фламинину, они наконец-то начали *узнавать* родственные себе черты в этих чужеземцах.

Предчувствие, что латиняне не совсем обычные варвары, по преданию, возникло еще у Пирра, отмечавшего боевой порядок римских войск, так не схожий с варварским. Когда столетие спустя римские легионы, возглавляемые Фламинием, появились в Этолии, это мнение могло разделить большинство жителей Эллады. Определяли его не только выучка и дисциплина легионеров (при случае они отнюдь не избегали грабежа), не слава победителей Карфагена (после победы над персами греки не

ведали равных себе в военной славе!). Но граждане Рима обладали не меньшим, чем греки, чувством национальной гордости и верой в свое право на владение миром. Устройство их государства почти не отличалось от афинского, статус гражданина имел у них не меньшее значение, а суровой простотой и умением сочетать свободу и повиновение, они превосходили не только афинян, но и спартанцев. В римском консуле Тите Фламинине греков удивляла не одна приятность обхождения, но и еще кое-что не типичное для варвара. "Ведь они от македонян слышали, что предводитель варварского войска разрушает все на своем пути и поработачает жителей силою оружия, и они были поражены, когда затем встретились с человеком молодых лет и приятной наружности, без всякого чужеземного выговора изъясняющегося по-гречески и *стремящегося к истинной славе*; очарованные, они возвращались к себе, без меры восхваляли Тита и говорили, что в нем они нашли борца за свою свободу" (*Плутарх*, 1990).

Это стремление к истинной славе греки издавна считали своим национальным качеством. Вспоминая бойцов, победивших при Марафоне, оратор *Лисий* (1994) говорил: "Они были проникнуты мыслью, что умереть – общий всем удел, а быть героями – удел немногих, и что вследствие смерти жизнь не принадлежит им, а память, которую они оставляют о борьбе, будет их собственностью". Воспитывая будущих воинов, греки старались развивать в их сознании именно этот моральный мотив: слава о подвигах должна непременно пережить героя, совершившего их, и не имело большого значения, где и когда совершались его подвиги – при защите собственной родины, или в завоевательных походах. Так, Алкивиад в юности был ранен во время одной военной экспедиции. Сражавшийся рядом с ним Сократ прикрыл своего ученика и на руках вынес с поля битвы. По правилам награду должен был получить именно Сократ, однако он, как сказано у *Плутарха* (1990), "*надеясь развить честолюбие Алкивиада в хорошую сторону*, первым выступил свидетелем в его защиту и просил увенчать его и дать ему полное вооружение", что и было исполнено афинянами. Римляне, не в пример им, не только не баловали свою молодежь подобным образом, но и никогда не отступали от железного правила, по которому старший по возрасту неизменно имел предпочтение перед младшим (исключение допускалось лишь в том редком случае, когда младший по возрасту занимал более высокую должность!).

Молодой честолюбец Тит Фламинин был как раз порождением тех новых веяний, которые проникали в Рим именно со стороны Эллады благодаря Публию Корнелию Сципиону и его друзьям – горячим поклонникам греческой культуры. "Уже для раннего периода, – пишет *С.И. Ковалев* (2006), – мы отмечаем влияние греческой культуры на некоторые стороны римской жизни, но только со времени войны с Пирром и особенно с эпохи Пунических войн это влияние становится решающим. Знакомство с греческим языком, по-видимому, было довольно широко распространено среди нобилитета уже в начале третьего века. В 282 г. римский посол Постумий объяснялся с тарентийцами по-гречески, а в 280 г. посол Пирра Киней говорил в сенате без переводчика. Старшие анналисты Фабий Пиктор и Цинций Алиммент писали свои произведения на греческом языке. Сам Катон, глубоко презиравший современных ему греков, изучал Фукидида и Демосфена. Сципионовская группа (сам Сципион Африканский, его брат, Лелий Старший, Фламинин, Эмилий Павел, Сципион Эмилиан, его друг Лелий Младший и многие другие) была страстной поклонницей греческой культуры. Эллинофильская политика римского сената в первой половине второго века в значительной степени объясняется греческими симпатиями его руководящего ядра".

Эллинофильство римской знати иногда вырождалось в грекоманию, не встречавшую одобрения у соотечественников. Луций Корнелий Сципион, когда ему воздвигли статую на Капитолии за победу над Антиохом, пожелал, чтобы его изобразили в греческом одеянии. Сенатор Авл Постумий Альбин, член комиссии, которой было поручено устройство Греции как провинции, написал римскую историю на греческом языке. В предисловии он извиняется перед читателями за свое не безупречное знание эллинской грамматики, на что Катон язвительно заметил, что его ведь, собственно, никто не заставлял писать свою книгу на греческом. В 212 г. в разгар войны с Ганнибалом по распоряжению сената были установлены в Риме игры в честь Аполлона (*ludi Apollinares*) для того, чтобы этот бог отклонил от государства новые бедствия. Все вместе это рождало ревнивую досаду и явную тревогу у знаменитого стратега ахеев Филопомена, предрекавшего роковой для Эллады день. Но пока римляне сражались с союзной Карфагену Македонией, этот день казался весьма отдаленным.

Присматриваясь друг к другу, греки и римляне едва ли могли предвидеть, какое влияние окажет их встреча на судьбы обоих народов. Неизбежность столкновения диктовалась тем общим сознанием морального превосходства, которое римляне связывали со своей военной мощью, а греки – с величайшим интеллектуальным и художественным богатством.

Пока они были лишь учениками греков, но настолько способными и сильными, что тем было в самую пору задуматься: а не состоят ли они в кровном родстве с римлянами как таковыми?

Ни римляне, ни греки никогда не говорили об этом прямо. Впрочем, существовал принятый обеими сторонами миф о троянском герое Энее, сыне богини Афродиты, переселившемся в Италию, где стал прародителем римлян, во всяком случае, самых знатных из них. Родословная Цезарей, восходила к

сыну Энея – Асканию (в римской традиции – Юлу). В век классической латыни на эту тему была сложена величайшая поэма Вергилия – "Энеида". Был и другой, еще более древний миф о боге Сатурне, т.е. греческом Кроносе, свергнутом и изгнанном своим сыном Юпитером (Зевсом) и нашедшем пристанище у древних италиков в Лации, где их царь, Янус разделил с ним власть. Благодарный гость научил их за это земледелию, виноградарству и цивилизованной жизни, т.е. в полной мере оказался их культурным героем, так что о времени Сатурна римляне неизменно говорили как о золотом веке. Таким образом, родство двух античных систем имеет вполне гармоничное отражение в народном и официальном предании. Авторитетные историки давно предполагают, что италики на Апеннинском полуострове и этнические греки на Балканском были двумя ответвлениями одного корня – древнего индоевропейского племени, разными путями и в разное время расселившимися по средиземному побережью, так что постепенно они сами утратили историческую память о едином прошлом. Самое поверхностное рассмотрение истории этих народов в период их архаики дает множество примеров несомненной общности, причем не заимствованной, а изначальной, различающейся лишь внешне. В обоих случаях мы видим полисное государственное устройство, преобладание земледельческих занятий и тот почет, которым они пользовались, а так же моногамное устройство семьи. И греки, и римляне имели в древности единый обычай сожжения умерших, а также культ копья и щита, как оружия свободнорожденного мужчины. Щит как у греческих, так и у римских воинов имел такое же значение, какое у рыцарей средневековья имел меч. И римляне, и греки вручали своим героям венки из листьев, как награду за доблесть. Совпадало и многое другое, в частности одежда, в которой до самого конца их истории имел значение не столько покроя, сколько искусство драпировки верхнего платья – у греков это был гиматий, у римлян – тога. Их рацион примерно одинаков, что объясняется единым климатическим поясом. На столе как римлянина, так и грека были те же ячменный хлеб, козий сыр, оливковое масло, бобы, лук, чеснок. И те, и другие разбавляли вино водой, а употребление его в чистом виде воспринималось как дурной тон и признак варварства.

3. Борьба мифологий

Есть давнее мнение, что римляне вообще не обладали самобытной культурой. Так, что касается внешнего образа жизни представителей знати, то у греков они переняли фактически все, что служило причиной того высокомерия, которым отличался каждый греческий наставник в Риме – будь то раб, приобретенный ими на рынке, или свободный, нанятый за деньги. Римляне собирали греческий антиквариат, тщательно копировали греческую живопись и скульптуру (почти все шедевры Эллады дошли до нас в римских копиях). Свою систему школьного образования обустроили по греческому образцу. Воздали должное и риторике, и поэзии (с самого начала они старались обрести своего Гомера и получили его в лице Вергилия). Превзошли ли они своих учителей? Пожалуй, все-таки нет. Но если бы все созданное греками исчезло из жизни и памяти народов, римская культура могла бы вполне компенсировать эту потерю. Что же касается ее самобытности, то при рассмотрении творчества двух национальных эпосов – "Илиады" и "Энеиды", мы легко увидим, в чем именно она состояла.

Примечательны в этой связи сами условия, в которых они возникли. Если в Греции мифология послужила материалом для историографии, поэзии (в первую очередь гомеровской!) и философии, то в Риме развитие шло в обратном направлении, – историография, поэзия, философия (точнее моралистика) постепенно составили почву, на которой родилась поэма Вергилия, ставшая национальным римским мифом. Никто из современников не видел большой беды в подражании отдельным сценам "Илиады" и "Одиссеи", но это привело к тем различным оценкам, которые "Энеида" вызывала у потомков. Многие видели в героической эпопее Вергилия оттиск с гомеровских поэм, неудачный в сравнении с другими, более оригинальными сочинениями великого поэта из Мантуи – буколическими эклогами и "Георгиками".

Но в действительности уже в самом содержании "Энеида" обладает существенной особенностью: в ней идет речь о *предопределении*. Путь одного человека, вполне земного, вопреки его божественному происхождению, дает начало судьбе целого народа, которому, в свою очередь, дается предназначение стать властелином всего мира. Подобного мотива нет ни у Гомера, ни у Аполлония Родосского (автора поэмы "Аргонавтика").

Другой важнейшей особенностью поэмы Вергилия является предельно развитая тема родительских и отцовских чувств Энея, совершенно новая в античном эпосе. Это обстоятельство побудило нас остановиться на данном мотиве, выяснить, почему он оказался свойственен именно римской культуре, и попробовать найти его истоки. На первый взгляд тут есть определенное противоречие. Ведь как раз древние римляне воспринимаются как люди, отдававшие должное рассудку перед чувством. В книге "Everyday life in ancient Rome" английский историк Франк Коуэл пишет следующее: "Преобладает впечатление, что римляне были серьезным народом, обладающим чувством собственного достоинства, заслуживающим скорее уважения, чем привязанности, что подтверждается некоторыми греками, чей живой, сочувственный, любвеобильный характер и чья любовь к красоте и

преклонение перед культурным превосходством составляли заметный контраст суровым прозаичным римлянам. Полибий в середине 2-го века до н. э. говорил, что в Риме никто никогда никому ничего не дает. Почти через триста лет другой грек, наставник будущего императора Марка Аврелия, говорил, что нет такого латинского слова, которое могло бы выразить заботливую нежную любовь родителей к детям, которая передается греческим словом «*philostrogos*». Он говорил, что в Риме вы никогда не встретите человека, которого можно назвать таким словом, и что он не верит, что такого рода привязанность существует в Риме" (Коуэл, 2006). Справедливо ли последнее замечание? Ведь и в богатейшем эллинском языке не было единого слова, определяющего добродетель, но не значит, что среди греков не встречалось добродетельных и достойных людей. Это можно отнести и к области родительских чувств римлян. Плиний Младший в одном из своих писем описывает неумеренную скорбь Марка Регула по поводу смерти его малолетнего сына. Этот Регул был весьма неприглядной фигурой для современников – доносчик и палач при Нероне и Домициане, обогатившийся на чужих бедах, – однако и он не был чужд глубокой отцовской любви, в выражении которой он, пожалуй, превзошел любого грека, хоть самого троянского царя Приама в его скорби по убитому Гектору. "Если он чем-то захвачен, – пишет Плиний, – чего он только не сделает! Захотелось ему оплакать сына – оплакивает, как никто; захотелось иметь как можно больше его портретов и статуй: по всем мастерским заказываются изображения. Недавно перед огромной аудиторией он читал его биографию, биографию мальчика! – прочел и разослал тысячи переписанных экземпляров по всей Италии" (Плиний Младший, 1984).

Если же говорить о героях римского эпоса, то в "Энеиде" мы видим, что из всех положительных черт Энея, таких, как верность долгу, воинская доблесть, способность быть вождем, умение вызвать любовь женщины и ответить на нее, – из всего этого героического набора, его особыми, индивидуальными качествами явились именно те, что отличают его как достойного сына и отца. Своего немощного отца Анхиза он выносит на руках из горящей Трои, одновременно с ним спасая и собственного сына (так он часто изображается в итальянской скульптуре – со стариком-отцом на плечах, и держащим за руку мальчика – Аскания-Юла).

Наверное, придется согласиться с известным афоризмом Уинстона Черчилля: "Мужчин и королей судят по критическим моментам их жизни". Своих героев любой народ познает в момент какого-то важного перелома, и народное предание чаще всего изображает их как раз в этот критический или поворотный момент. Гильгамеш древних шумеров – победитель крылатого быка, Геракл – немейского льва-людоеда, шкуру которого он носит вместо панциря, ветхозаветный Давид – это прежде всего юноша-пастух, одолевший филистимского великана с помощью камня и пращи. А Эней древних римлян – это воин, спасающий своих близких от бедственной участи в побежденном городе. Ничего сверхъестественного или ужасающего в этом подвиге нет, но так решается судьба его образа у тех, кто счел его этническим и культурным героем римского народа. Подвиг Энея символичен: в лице Анхиза он укрывает от поругания древнюю славу Трои, в лице же Аскания спасает будущее.

Герои мифов Эллады не имели прямых наследников. Древние греки в своем сознании обладали интересным свойством, которое М.Л. Гаспаров образно называл "страхом бесконечности". Они избегали рассматривать историю мира в динамике, предпочитая события прошлого распределять по завершенным циклам, упомянутым у Гесиода в "Трудах и днях": золотой, серебряный, медный, героический и железный века. Век героев в мифологии заканчивается гибелью их всех, часто ужасающей своей бессмысленностью. Вспомним печальный конец царя Агамемнона в самый день его триумфального возвращения после десятилетней троянской войны, и ведь гибнет-то он от рук собственной жены Клитемнестры! Впрочем, почти никто из его соратников не умер своей смертью и не оставил равноценного себе потомства. Новым поколениям греков приходилось начинать с нуля, в то время как римляне строили свою жизнь в самой непосредственной связи с прошлым. Также в их преданиях нет ни одного примера открытого богоборчества, как у греков в случае с Прометеем, или царем Эдипом, слова и действия которых хотя объективно и признаются неблагоприятными, – с точки зрения благочестия, однако, как бы там ни было, вызывают в значительной доле сочувствие и даже восхищение. Показать индивидуальное яркое начало отдельной личности, – вот что всегда было в первую очередь важно для греков, эта тенденция намечена уже у Гомера. Неистовый Ахиллес с его страстями, конечно, более интересен, чем благочестивый и добродетельный Эней. Однако Ахилл – это классический пример саморазрушения, жертва собственной необузданности, в то время как Эней – мученик долга. Сравним начала обеих поэм. В "Илиаде" оно известно даже слишком хорошо:

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал,
Многие души могучие славных героев низринул
В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным... (Гомер, 1971).

На первый взгляд речь идет о победах героя, совершенных над врагами. Но в реальности гнев Ахилла стал причиной гибели его соратников, *ахеян*, с которыми вместе он прибыл к берегу Трои, но из-за личной распри с Агамемноном оставил умирать без своей, весьма существенной для них, помощи.

Начало "Энеиды" звучит в совершенно иной тональности, хотя по форме это все тот же гекзаметр:

Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои –
Роком ведомый беглец – к берегам приплыл Лавинийским.
Долго его по морям и далеким землям бросала
Воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны.
Долго и войны он вел, – до того, как, город построив,
В Лаций богов перенес, где возникло племя латинян,
Города Альбы отцы и стены высокого Рима (Публий Вергилий Марон, 1971).

Мы видим здесь вполне определенное различие. Ахилл – жертва собственной злой воли, Эней – объект воздействия иной реальности, будь то рок, или воля богов, или "гнев жестокой Юноны", но в результате его страданий и жертв возникает нечто новое и великое – Рим. В первом случае – разрушение и смерть, во втором – продолжение жизни в новом, более совершенном качестве. Ахиллом движет собственная прихоть, Энеем – *предопределение*.

Другой важнейший мотив у Вергилия, совершенно новый в античном эпосе – отцовские и сыновние чувства Энея. Почему он оказался так неотъемлемо присущ именно римской культуре?

Оба характерных момента – предопределение и тема отцов и сыновей, ярко высвечиваются в шестой книге "Энеиды", где описано таинственное проникновение Энея в загробный мир. Вождь тевкров совершает его, чтобы встретиться со своим отцом Анхизом. Некогда он вынес его из горящей Трои, а затем, когда тот умер, не пережив всей тяготы скитаний, с честью похоронил на Сицилии. И вот происходит их волнующая встреча по ту сторону Стикса.

Руки порывисто он протянул навстречу Энею,
Слезы из глаз полились и слова из уст излетели:
"Значит, ты все же пришел? Одолела путь непосильный
Верность святая твоя? От тебя и не ждал я иного.
Снова дано мне смотреть на тебя, и слушать, и молвить
Слова в ответ? Я на это всегда уповал неизменно,
День считая за днем, – и надежды мне не солгали" (Публий Вергилий Марон, 1971).

Там, в царстве теней старец Анхиз открывает сыну будущее народа, которому должен дать начало Эней. Перед их взором проходят души великих римлян, которым только предстоит прийти в мир и совершить свои подвиги: полководцев, сенаторов, консулов, чьи труды сделают весь мир подвластным державе Вечного Города. Далее следуют самые знаменитые и наиболее часто упоминаемые строки пророчества:

Смогут другие создать изваянья живые из бронзы,
Или обличье мужей повторить во мраморе лучше,
Тяжбы лучше вести и движенья неба искусней
Вычислят иль назовут восходящие звезды, – не спору:
Римлянин! Ты научись народами править державно –
В этом искусство твое! – налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войною надменных! (Публий Вергилий Марон, 1971).

Первое, что мы видим здесь, – это противопоставление. Другие (*alii*) – это, конечно же, греки – искусные мастера, ученые, риторы. Частое противопоставление римлян и греков вообще свойственно классической римской культуре. Это породило традицию, ставшую необходимой, условностью, которой заплатили дань даже Сенека и Плиний Младший, жившие в эпоху, уже совершенно чуждую тем бурным временам, когда столкновение греческого и римского начал отражало коренные перемены в античном мире. Тогда, в III и II веках до н. э. велась борьба консервативного патрицианского Рима (в лице Катона Цензора) и просвещенных эллинофилов (к кругу которых принадлежал уже знакомый нам Тит Фламинин), совершался духовный перелом, связанный с открытием эллинского мира. Это открытие определило все самосознание римской цивилизации. Сравнивая себя с греками, римляне постепенно понимали, что представляет собой созданный ими Рим. Следовать греческим веяниям было таким же хорошим тоном, как и критиковать их. Это сохранялось даже в эпоху Империи, когда нравственный смысл обеих позиций был утрачен в потоке всевозможных политических потрясений (вспомним хотя бы фигурирующего в гениальном "Сатириконе" Петрония вольноотпущенника Трималхиона с его "рапсодами" и "гомеристами"),

т.е. мимами, представлявшими во время пира сцены из Гомера, когда один, изображая безумство Аякса, разделявал мечом вареного тельца со шлемом на голове, и раздавал куски гостям!).

До подобных причуд было еще очень далеко в ту пору, когда Эмилий Павел, отец Сципиона Младшего, вслед за Фламинием покорял древние земли греков и воевал с последним македонским царем Персеем.

Именно тогда, на заре собственного расцвета, в Афинах и Коринфе римляне могли увидеть первообраз великой культуры, отблеск которой они наблюдали прежде в колониях Кампании и Сицилии. Возвышенная эллинская легенда о свободе и любви к отечеству не могла удивить потомков Аппия Клавдия и Фабия Максима, но ее воплощение в бронзе и мраморе, красота олимпийских богов, роскошь Востока, обретшая классическую форму, – этому римляне тогда не могли противопоставить ничего равноценного. В Италии в ту эпоху кровли домов еще покрывали дерном, и еще живы были воспоминания о том, как спаситель Рима Цинциннат сам обрабатывал землю в своем поместье. Конечно, именно непривычная взгляду роскошь, а отнюдь не собственный хороший вкус заставили римлян так полюбить изделия из коринфской бронзы, золоченые перевязи, драгоценные геммы и камеи. Но уже в скором времени для наиболее дальновидных из них стало очевидно, что все это внешнее великолепие является лишь проявлением особого греческого духовного склада, суть которого в первую очередь раскрывает их культура слова.

4. Римская национальная идея в действии

Характерно, что в упомянутых Анхизом в "Энеиде" видах творчества, в которых приоритет отдан грекам, речь идет только о прикладных искусствах и естественных науках. В области слова римляне так и не признали преимущества греков, в то время как оно было очевидно. Подчинившись Риму, греки были вынуждены уступить ему военные лавры и славу наилучшего государственного устройства. С этим фактом они примирились легко, их гордость была сломлена еще Александром и его наследниками – диадохами. Но в собственно культурной жизни – красноречии, поэзии, философии, музыке – всем, составлявшем суть греческой *пαιδεία* (в значении особой системы переплавки, отделки человеческого духа) они по-прежнему не ведали равных. Собственно, только она и делала их эллинами в собственном смысле слова – изящными и искусными духовными аристократами, обладавшими если не фактическим, то идейным влиянием на весь мир Средиземноморья. Полибий не без гордости вспоминал, как юный Сципион Эмилиан, внук победителя Ганнибала, умолял его, ахейского заложника, не пренебрегать его обществом, ибо он чувствовал на себе благотворное воздействие личности ученого грека. Сципион, как и лучшая часть римского гражданства, стремился постичь секреты эллинской образованности. Греческий язык становился привычным в среде римской знати, обретали популярность литературные и философские диспуты. Грамматик Кратет из Киликии, бывший посланником в Риме, по свидетельству Светония, пробудил в республике интерес к серьезной филологии и поэтике. Философия эпикурейцев вначале не вызвала большого энтузиазма, но стоики пользовались признанием, что легко понять, помня жизненные установки римлян. Так, на их интеллектуальную деятельность во многом повлиял греческий астроном, историк и философ Панетий Родосский (ок. 185-110 до н. э.), предначертатель римского стоицизма и учитель Цицерона. Вслед за последним молодежь Рима все чаще и чаще пересекала Адриатику, чтобы не с оружием в руках, как отцы и деды, а со свитками пергамента посетить родные места великой культуры и дополнить домашнее образование в знаменитых философских и риторских школах.

Постепенно римляне преодолели внутренний комплекс невежества. Они оказались весьма бойкими и нетерпеливыми учениками. Стоит отметить культурно-историческую ситуацию, когда на волне иноземного влияния появляется возможность противостоять ему практически на равных. В такое время необходим человек, способный соединить внешне несоединимое, и Рим получил его в лице Марка Туллия Цицерона (106-43 до н. э.).

Среди теней великих римлян, представших взору Энея в загробном мире, не было этой тени. У Вергилия были на то причины политического характера, поскольку Цицерон являлся личным врагом Августа в годы второй гражданской войны, а именно император был негласным заказчиком поэмы. Между тем, без Цицерона, возможно, не возникла бы и "Энеида", а классическая римская культура имела бы совсем иной вид и значение. Великий оратор поставил грандиозную задачу – оспорить эллинское интеллектуальное и духовное превосходство и тем самым убедить соотечественников, что исконно римское имеет более достоинств и возможностей, чем иноземное, которое они, презирая на словах, так активно внедряли в свой быт, сознание и мораль. Как на подспорье, он мог рассчитывать на традиционное для римлян сознание своей исключительности, подкрепленное великими примерами прошлого. Возродив былое величие, римский народ, хотя бы в лице сенаторской знати, мог бы противостоять тем испытаниям, которые готовили Риму вольные и невольные враги республики.

Все это было не более чем мечтой, но действительность превзошла любую мечту. В первых веках нового тысячелетия из политических бурь и трагедий, из частых бед и поражений в Риме возникла великая литература, непостижимое чудо золотой латыни. Цицерон, одинокий на форуме и в сенате, в своей культурной декларации обрел союзников даже в лице политических врагов. Среди них был, например, его личный недруг Гай Саллюстий Крисп – талантливый историк, и сам Цезарь, составлявший свои записки по образцу давнего и активного оппонента, каким являлся для него Цицерон.

Было вполне понятно, что значительная часть притягательности греческой культуры состоит в ее совершенной форме. Необходимо придать римской идее такую же оправу и блеск, и тогда граждане Рима смогут, наконец, оценить свое собственное достоинство, унаследованное от отцов. Таким образом, превзойти греков на арене духовного поединка стало для римлян не просто данью гордости или прихоти, но делом чести, их долгом по отношению к собственному государству.

Обратимся к началу "Тускуланских бесед", где сжато передаются мысли Цицерона на эту тему. Он объясняет цветущее состояние словесного и научного творчества в Элладе тем высоким престижем, который всегда имели у греков художественные и риторические занятия. "Почет питает искусство, слава воспламеняет всякого к занятию ими, а что у кого не в чести, то всегда влачит жалкое существование" (Цицерон, 1975). В Риме, где, помимо агрикультуры, чтислись только военная служба, политика и правовая деятельность, профессиональное занятие литературой и тем более каким-либо прикладным творчеством никак не поощрялось "порядочными людьми", т.е. теми, кто определял общественное мнение. Можно сделать вывод, что рапсоды и музыканты значили в глазах нобилитета не больше, чем гладиаторы, и уж конечно меньше, чем цирковые возницы или борцы. Даже сочинение стихов было в глазах Катона (первого и главного авторитета республики) занятием пустым и недостойным. "А чем меньше почета было поэтам, тем меньше занимались и поэзией", – пишет Цицерон (1975). Даже тем, кто отличался в этой области большими дарованиями, было далеко до славы эллинов. Однако, по его мысли, из этого вовсе не следует, что потомки Ромула имели менее способностей, но направлены они были главным образом на общее благо. Только уйдя на покой, Квинт Фабий или Марк Порций Катон могли посвятить себя писательской деятельности, связанной опять-таки исключительно с пользой Рима. Известно, что современник Цицерона Саллюстий, был одним из первых в Риме "чистых" историков, для которых историография служила действительно профессиональным занятием. В более ранние времена это было делом сенаторов на покое или наемных греческих "скрипторов". На свободные искусства предки просто не имели времени, оттого-то Греция всегда превосходила Рим в красноречии и учености всякого рода, "да и трудно ли здесь одолеть тех, кто не сопротивлялся?" (Цицерон, 1975).

Аналогичные рассуждения находим мы и у Саллюстия в его "Заговоре Катилины", где он пишет, что блистательные деяния афинян все же сильно преувеличены греческими писателями исключительного дарования. У римского народа таких никогда не находилось, ибо все самые опытные и одаренные из граждан были самыми занятыми. Силы лучших людей Рима (*boni*) ушли в государственную и военную деятельность, они "предпочитали действовать, а не говорить, чтобы другие прославляли их подвиги, а не сами они рассказывали о чужих" (Крисп, 1981).

Греки в классический период их истории были убеждены: их стремление править варварами оправдано тем, что они являются самым свободным и культурным народом в мире. Римляне искали оправдания в области высокой морали. Вспоминается описанный Цицероном случай, когда Маний Курий отверг золото самнитов, сказав, что для него славнее повелевать теми, кто накопил богатство, чем владеть им самому. Искусство побеждать и управлять побежденными составляло главное преимущество предков, и пример их, по мнению Цицерона и Саллюстия (а затем, как мы помним, и Вергилия), достоин всяческого подражания. Добровольное отречение от земных наслаждений как бы оправдывало вынужденное невежество, чистота и самоотречение являлись платой за успех республики. Это было их открытием, их основной идеей, можно даже сказать их религией. Греки скорее простили бы яркий порок, чем суровую ограниченность, – ведь он мог способствовать творческой энергии, стать путем к власти и славе. Их народ породил не только Фидию, но и Герострата, мотивы которого (поиск посмертной славы любой ценой) были им понятнее, чем кому-либо другому. Римляне, напротив, видели свой идеал в традиционной республиканской добродетели, не оставляющей места даже невинному тщеславию, столь поощряемому у греков. Похоже, только они научили римлян понимать и ценить физическую красоту. "Поистине, во всем, что дается людям от природы, а не от науки, – говорится в "Тускуланских беседах", – с нами не идут в сравнение ни греки и никакой другой народ: была ли в ком такая величавость, такая твердость, высота духа, благородство, честь, такая доблесть во всем, какая была у наших предков?" (Цицерон, 1975). В то же время грекам, по мысли Цицерона, свойственна изначальная моральная ущербность: ради общего благоденствия они не пожертвуют личным счастьем, отстраненность от государственных дел всегда слыла у них хорошим тоном. Самомнение искони было их природой, непристойность – нормой. Они избегали боли, искали наслаждений, мнимый почет принимали за

подлинный, – одним словом, мы видим здесь нечто, совершенно противоположное каноническому образу римского народа.

Здесь не первый и не последний раз в истории культуры римляне и греки предстают как антиподы. Противопоставление, сделанное Цицероном, стало классическим. Саллюстий во втором послании Цезарю отказывает грекам даже в доблести и трудолюбии (*Крисп*, 1981). У римлян – воинственность, скромные потребности, выдержка и твердость, у греков – любовь к роскоши, пристрастие к празднествам, вырождение и упадок. Примечательна устойчивость данной схемы. Например, Теодор Моммзен в первом томе "Истории Рима" также противопоставляет индивидуализму эллинов римскую самоотверженность, распушенности – стыдливость, алчности – умеренность, праздности – трудолюбие и т.д. Схожий мотив присутствует и у Честертона в книге "Вечный человек": "Если греки тянулись к мифам, то латиняне как бы тянулись к вере. И там, и тут множились боги, но можно сказать, что греческий политеизм разветвлялся как ветви дерева, а римский – как корни. А может быть, точнее сказать, что у греков дерево цвело, а у римлян склонялось к земле под тяжестью плодов" (*Честертон*, 2004).

И все же подобные сравнения не в пользу греков представляются не вполне справедливыми. Легенда о нравственном и гражданском преимуществе римлян идет от Полибия и Катона Старшего. Их оценка во многом отвечала реальному положению, но этапы развития обоих народов к моменту их столкновения были различны. Ко II веку до н. э. Греция успела пережить расцвет полисной демократии и ее последующий кризис. На этом фоне республика римлян, вступившая в пору расцвета и только что одержавшая свои великие победы, заметно выигрывала. Однако и в ней тенденции к худшему застали уже и Полибий, и Катон, а ко времени Цицерона разочарование становилось чем-то привычным и неизбежным. Соответственно, контраст, увиденный при сопоставлении римской и греческой морали, раскрывает не природу обоих народов, а различие их исторических этапов. Несходство было бы менее заметно при сравнении Рима, современного Клавдию Марцеллу, и Греции эпохи персидских войн, – та же высокая гражданственность отличала сверстников Аристиды, так же не выносили умственных излишеств современники Анаксагора, в 434 г. осудившие его на изгнание за смелое и необычное для того времени сочинение. С другой стороны, Полибий не увидел бы заметной разницы, окажись он не в Риме Сципионов, а в Риме Публия Клодия, этого Алквиада римской республики. Собственно, все, чем римляне гордились в сопоставлении с греками, в I-м веке уже нашей эры Тацит обнаружил у германцев, когда римляне лишились значительной части своих добродетелей, и различие состояло опять-таки в уровне исторического развития, а не в сущности.

Древняя Греция и Рим представляют две стороны одного культурно-исторического типа античности. То общее, что объединяло их в более древнюю эпоху, нелегко счесть простым совпадением, правомернее было бы говорить об общности корней. Сами древние о них почти не вспоминали. Легкий намек находим у Плутарха в жизнеописании Фламинина, но ни объяснений, ни подтверждений общего древнего родства нет ни в одном из античных источников. Причину этого можно видеть в последующей идейной вражде. Римляне классической эпохи, как мы помним, предпочитали видеть своими предками враждебных Элладе троянцев. При этом, однако, ни один завоеванный ими народ не сыграл такой роли в римской действительности, как эллины.

Судьба Эллады и державы персов пересекались неоднократно, испытывая при этом взаимное влияние, и все же их истории могут изучаться параллельно. То же можно сказать о Риме и Карфагене. Но когда речь идет о Греции и Риме, они воспринимаются исключительно в едином представлении об античном мире, отчего внешний фасад обеих культур так часто смешивали потомки. Греки были завоеваны римлянами, как сотни раз в мировой истории один народ завоевывал другой, но случай подобного слияния не повторялся более никогда. Ни финикийцы, ни сирийцы, ни галлы, ни древние испанцы не оказались так близки римлянам, как греки. Основное их различие составляет смещение во времени. Мы уже говорили, что античности была дана возможность познать себя: Греции, опередившей Рим на три столетия, довелось увидеть свое прошлое, Риму – определить будущее. Это единство отчетливо сознавал Плутарх. В "Сравнительных жизнеописаниях" биографии знаменитых греков и римлян соотносятся не только по характерам героев, но, в большинстве случаев, и по периодам их деятельности.

5. Заключение

Цицерон жил в эпоху, когда временное различие выровнялось, создалась историческая и духовная амальгама, и единая античная цивилизация вступила на свой завершающий путь. Но и в век общего кризиса он сохранял убеждение в том, что римская сторона здоровее нравственно, если не по виду, то по сути. Уже не о предках, а о современном ему римском гражданстве он говорит все с той же горделивой прямоотой: "Наши нравы и порядки, наши домашние и семейные дела – все это налажено у нас, конечно, и лучше, и пристойнее" (*Цицерон*, 1975). По большому счету это можно принять за

сознательный самообман, поскольку из судебных речей того же Цицерона мы узнаем о фактах взаимных измен, бесконечных разводов и иных примерах далеко не прочного состояния домашних и семейных дел римского нобилитета. Видел ли оратор только то, что желал видеть, или наблюдаемые им примеры высокой нравственности все же преобладали над отклонениями? Вспомним и другое: светскую хронику Палантина – аристократического района столицы все же не стоит принимать за состояние римской морали в целом. Существовала италийская провинция, все еще верная дедовским принципам трудолюбия и благопристойности. Посещая свой родной Арпин или тускуланское поместье, Цицерон находил утешение и душевное равновесие. То, что "Тускуланские беседы" написаны именно в деревне, доказывает, что их автор вовсе не лицемерил, – окружающая атмосфера вполне гармонировала с его суждениями о благополучном состоянии римской семьи. Вероятно, допустимо говорить о том, что нравственный кризис, хотя и был так же необратим, как и в Греции, совершался в римском государстве медленнее. Древние законы и порядки не так скоро превратились в условность, но сохраняли свою действенность так же упорно, как и римская идея. Это подтверждают судьбы Марка Юния Брута, его жены Порции, ее отца – Катона Утического и других республиканцев, погибших именно за идею, ибо сама республика перестала существовать в день фарсальской победы Цезаря. Идеалы же староримской семьи (familia) держались значительно дольше.

Условно в Греции в период от Марафонской до Херонейской битвы, положившей конец ее политической независимости, сменилось столько же поколений, сколько и в Риме в пору республиканской классики (пять или шесть за два неполных века). Мы наблюдаем симметричную картину расцвета и увядания, но, если в Афинах духовная и литературная деятельность шла параллельно с политической, то в Риме она оформляется ближе к концу. Оттого-то и создается впечатление, что у греков общественная мысль опережала действительный ход событий и даже способствовала общему упадку. Вот почему последовательно осуждению подверглись и Еврипид, и Сократ, и даже Аристотель. В Риме же, напротив, духовная сфера отставала от политической, за что, в конце концов, тому же Цицерону пришлось поплатиться головой. Характерно, однако, что во всей античной моралистике культура семейных отношений почти не комментировалась. По мнению многих, в то время в области кровного родства эта культура имела естественное происхождение и вовсе не требовала философских обоснований, поэтому такой области, как теоретическая педагогика, у древних попросту не существовало. Тем не менее, рассказы греческих и римских авторов о системе отношений отцов и сыновей расходятся подчас до противоположности, и эта тема вполне могла бы стать темой отдельного историко-философского исследования.

Литература

- Гомер. Илиада. М., *Художественная литература*, с.23, 1971.
Ковалев С.И. История Рима. М., *Полигон*, с.265, 345, 2006.
Коуэл Ф. Древний Рим. Быт, религия, культура. М., *"Центр Полиграф"*, с.65, 2006.
Крисп Гай Саллюстий. Сочинения. М., *Наука*, с.9, 133, 1981.
Лисий. Речи. М., *"Ладомир"*, с.62, 1994.
Плиний Младший. Письма. М., *Наука*, с.63, 1984.
Плутарх. Избранные жизнеописания. М., *Правда*, т.1, с.451, 452, 357, 1990.
Публий Вергилий Марон. Буколики. Георгики. Энеида. М., *Художественная литература*, с.123, 236, 240, 1971.
Цицерон. Избранные сочинения. М., *Художественная литература*, с.208, 1975.
Честертон Гилберт Кит. Вечный человек. М., *ЭКМО, СПб., МИДГАРД*, с.204-205, 207, 2004.
Шпенглер О. Закат Европы. М., *Мысль*, т.1, с.329, 1993.